

Мама легла в больницу в начале марта, и бабушка забрала мальчика в деревню. Иногда мама звонила. Голос её прилетал издалека, словно с конца длинной-предлинной трубы. Бабушка первое время, пока не разругались в пух и в прах, отвечала сама:

— Кто он хоть, доча? Вахтовый? Адрес? Опеть?! Ты же обязана была проверить его документы, когда он поступил к вам в отде... Ну и вертолобая ты! — и, пихнув трубку в руку мальчика, скорей к жёлтому шифоньеру за капельками в бутылёчке из тёмного стекла.

И всегда мамины звонки заканчивались одним. Мальчик звал её приехать и, конечно, пускал слезу. На том конце тоже хлопало, а потом сыпались короткие гудки: курлы! курлы! Как песня осенних журавлей. Их было так много, что если бы все собрать в стаю и заставить разом заплакать, то мама с бабушкой ужаснулись бы: сколько мальчик перенёс из-за них горя! Но, кроме него, никто этих брошенных мамой гудочков не слышал, и поэтому ни одна душа не ведала о приключившейся с ним беде. И мальчик, брякнув трубкой о телефон, выворачивал красный мокрый рот:

— К маме хочу-у-у! Пусть меня заберё-о-от!

Набрав из пузырьёчка в рот, бабушка обыкновенно сидела в прихожей. За окошком ронялись с крыши первые сосульки и, звенькнув о бельевую

проволоку, разбивались о тротуар. Старуха смуро смотрела на белый свет, как будто и видеть не хотела, и только капельки, собранные под губой, не давали ей выпустить гнев.

— К маме хочешь своей?! С баушкой тебе плохо, которая исть-пить да-ёт?! А-а, шуруй на все четыре стороны! — сглотнув капельки, жалила Клавдия Еремеевна.

Но и она была не из жести:

— Приедет твоя мамка, привезёт тебе о-от такого коняку! Тогда и скачите с ней на пару, моэть, головёнку свернёте...

Не найдя мамы, мальчик забирался к старухе на колени. И Клавдия Еремеевна замолкала, сцепив потрескавшиеся грубые руки у мальчика на животе. На голову мальчику то и дело падали капельки, которые катились по старухиным щекам и свисали с дрожащего подбородка. Но если мальчик заливался во всё горло, то бабушкина печаль была неслышна. Губами, будто жующими зёрна, тоненьким шипящим свистом изо рта да вот этими капельками иссякала бабушка...

Накануне мама позвонила рано-рано, ещё дремали на печке бабушкины чепарухи. Соскочив с кровати, мальчик попробовал отвоевать телефонную трубку и даже лягнул старуху, но Клавдия Еремеевна быстро укротила подзатыльником. Добавила бы ещё, если бы мальчик не зауросил и не убежал в кухню, чтобы пиялиться в окно и ковырять ногтем утреннюю сизую скорлупу, обметавшую стёкла.

Как уж он учуял, но только в шкафу обнаружили скрытые от него яблоки — три штуки в газетном кульке! Вот тогда-то и сгрыз одно, а семечки посадил в цветочном горшке, чтобы разрослись и задавили бабкину херань. К осени у него будут свои яблоки, из которых он, так и быть, вернёт этой жадной старухе одно. А может, и два! Только он вытер испачканные руки о бабушкин передник, висевший на гвоздке, как приковыляла, заваливаясь на бок, больше не любимая им старуха. На удивление, после разговора с мамой бабушка была радостная и просветлённая, точно умытая снегом, с ещё не просохшим лицом. Она не дала ему взбучку за съеденное яблоко, о пропаже которого догадалась по обвёртке у печки.

— Слушил уже?! Хоть куды прятать! Ну да ничё-ё, ешь на здоровье! Ско-ро и хлебной корочки не увидишь... — Она даже погладила мальчика, шумным носом понюхала его волосы. И он снова полюбил бабушку.

— А почему, баба, я даже корочки не увижу? — когда бабушкины руки отдохновенно легли у него на голове, спросил мальчик. Но бабушка промолчала.

Оставшийся день Клавдия Еремеевна напевала старинное и тягучее. Там был и “красный сарафан”, не шить который умоляла распоясавшаяся старуха свою матушку, и “камаринский мужик”, что напился, наверное, с подымахинскими мужиками на угоре, и “берёзка во поле”, где столовались деревенские трактористы, и “сени мои, сени”...

(О снях-то чего петь! Вон они — толкни дверь плечом — сумрачные, в белых куржаках\* по углам, несмотря на весну... Вмиг окочуришься!)

А потом пошло-поехало — как на майские праздники лёд в Лене — совсем печальное. Не только у бабушки, но и у мальчика, крутившегося под ногами, глаза были на мокром месте. А когда они в последний раз там были без хорошей-то выволочки?! Такая песня велась тяжело, словно несла её бабушка на закорках, с расстановкой — когда “в горку”, а “под горку” — с широким вольным заламыванием руки, которую Клавдия Еремеевна откидывала на сторону, точно занесённое для гребка весло, а потом росчерком ласточкиного крыла стремительно возносила над головой:

*И никто-о-о-о не узна-а-а-ет,  
Где моги-и-и-и-и-лка-а мо-о-я-я-я-я-я-я...*

\* Куржак — крупный рыхлый иней, образующийся в месте столкновения положительных и отрицательных температур, например, над дверью в снях (прим. автора).

Хорошие были песни! Только грустные. Ну, да за бабушкой повелось, как умер дедушка: радуется — прикладывает к глазам платок, плачет — рот в песнях дерёт...

За песнями да вздохами бабушка почти не отпускала подзатыльников, хотя мальчик вёл себя куда как самонадеянно и даже втихаря посолил картошку в кастрюльке, выставленной Клавдией Еремеевной на горячую печь.

Назавтра она разбудила его чуть свет, одела — только гляделки видеть — и, полусонного, повела за ворота, покатила на трясучем автобусе с фанеркой вместо бокового стекла. Потом они скреблись по обледенелой лестнице в гору, мимо серебряных от изморози сосен. Было холодно, у них в деревне теплее, потому что там все топили печки и обогревали улицы. А в городе кирпич да бетон, дым только из высоченной трубы кочегарки, да и тот чёрный, вонючий, как если сунуть в топку дырявый резиновый сапог. Пока-а доскребишься доверху, до самых облачков над крышами красных трёхэтажек... Вот и взялся инеем шарф на лице! Из рта бабушки, порыбы хватавшего воздух, тоже не бог весть что, то хрип, то кашель, а то и вовсе плевков. Запахнутая в сто одежек, похожая на шерстяной колобок, старуха едва семенила, на последнем издыхании ища нужный больничный корпус среди тех нескольких, что встали в лесу на горе. Но мальчик, вцепившись в её руку, всё равно не поспевал, шаркал валкими валенками.

В свободной от мальчика руке бабушка несла сумку. Уж чего только они не поклади в неё! И толстые пузатые картошки в лопнувших мундирах, и пупырчатые солёные огурцы, и отваренное в луковой шелухе мягкое, как пластилин, сало, и даже два румяных с мороза яблока! Несла, конечно, одна бабушка. Но и от мальчика помощь: если бы не он, старуха и не заикнулась бы об этих яблоках! Ведь это он добрался до них в шкафу и съел одно — красное, с хрустящей корочкой! — а бабушке только и оставалось, что раскошелиться. Это он, а не кто-нибудь, пожалел для себя другие — уж какие сладкие, слаще съеденного! — и отложил самые-самые... для мамы.

В больнице было чисто и светло-зелёно. Пахло овсяной кашей, рыбными котлетами и компотом. Там оказалось много комнат, больше, чем у них в садике, а ещё больше — детского крика. Ну как в этих закоулках не заплутать? Как среди похожих, словно капли воды, каморок найти одну, где мама? Как во множестве голосов услышать её?! И зачем бабушка посадила его у двери на кожаный диван с пуговицами и приказала не уходить, а сама убрела по коридору — и как в подполье шандархнулась... Допустим, ещё дома она выделила ему шоколадную конфету из того запаса, что скурковала\* и затарила в старом лопнувшем запарнике. Так мальчик не кланчил её! Он бы лучше сам пошагал искать маму. А конфету бабушка всё равно скормила бы ему, потому что у неё “деабед” и она может “уйти вперёд ногами”, если слотнёт лишнюю ложку сахара.

На крашенных стенах висели фотокартинки с бледными тётками и ихними кривоногими детками. Однако, задирая на лоб спадавшую ушанку, мальчик ни грамма не заинтересовался чужими мамами, поскольку своей он давно не видел, а от вида других ему хотелось чертить гвоздём по стеклу. Он бы, пожалуй, и от вида других ему хотелось чертить гвоздём по стеклу. Он бы, пожалуй, и от отказался теперь от манной каши и компота (только, чур, косточки он разбивает дедушкиным молоточком сам!). Тем более конфета нагрелась в кармане, и он слизал с шуршащего фантика влажный шоколад, а бумажку случайно уронил на пол.

Тут к нему подвалил человек со скользкими руками и в смешном чепчике на голове. Спросил строго:

— Что ты здесь делаешь?

— Я? Я ничего не делаю! — ответил мальчик. И не соврал. Ведь, не дождавшись каши и компота, он только потрогал стоявший в углу, в деревянной тумбе, огромный, выше него, кактус, а ни одной тычки, сколько ни колол пальцев, не отломил, чтобы подложить на бабушкину табуретку, когда они уедут в деревню и мама снова позвонит...

\* Скурковать (от “куркúль”) — припасти, припрятать, хранить потаённо, не транжиря или транжиря по великой нужде.

— А это кто бросил?! — Чепчик кивнул на фантик под ногой. — Ты что, не знаешь, как себя нужно вести?

— Знаю. Нужно опустить бумажку в ведро.

— Правильно! А ты почему так не сделал, ведь есть же урна?

— Я хотел, но у вас ведро полное, и мой фантик вывалился обратно, — это была самая чистая правда. Он хотел отнести бумажку в урну...

Чепчик неожиданно засмеялся, сдирая с рук резиновые перчатки. И руки сразу стали большими и волосатыми, как у дяди Фёдора, который к ним с мамой иногда приходил.

— Это здоровая критика! — согласился Чепчик.

Едва он ушёл, как его требовательный голос загремел за стеной. Из коридора пришуршали рассерженные Веник и на длинной палке жестяная Коробочка с откидной крышкой. Крышка откинулась рядом с мальчиком, точно готовясь его слотнуть, веник метнул. И бумажка от бабушкиной конфеты исчезла в Коробочке, которая напоследок клацнула крышкой:

— Воспитанные дети не будут бросать мусор где попало, даже если нет мусорной корзины! А этот расселся!.. Из-за тебя, обмылок сопливый, наш Главный испортил мне настроение перед Восьмым мартом!

А-а! Так этот Чепчик, оказывается, самый главный у них. То-то он разорялся, то-то много брал на себя!

— А разве март бывает восьмым? — осторожно спросил мальчик, следя, как бы крышечка снова не откинулась, а Веник не смахнул бы его в Коробочку. — Он, по-моему, один на свете...

— Чего?! — у Коробочки крышка поползла вниз, должно быть, от изумления, а мальчик быстро сел на диван и поджал ноги. Но Коробочка не успела его съесть: на выручку ему подоспела бабушка, уже без сумки.

— Чё он тут опять натворил?! — Клавдия Еремеевна, как на вражину, пришурлилась на Коробочку, потом — на мальчика. — На минуту оставить нельзя!

Вид у бабушки был решительный. И Веник с Коробочкой, под которой обнаружили Коричневые Тапочки, убрались столоваться у переполненной корзины. Они с бабушкой разделись, в окошечке у Бабы С Чёрной Родинкой На Щеке обменяли свои вещи на медные жетончики (о, неравный обмен, у него только в левом кармане полшубка — четыре скелетона!) и отправились по коридору, откуда бабушка так вовремя явилась и спасла его от участи конфетных фантиков и мандариновых шкурочек.

— Баба, а ты нашла маму? Нашла или нет?! — заныл мальчик. Бабушка, потыкавшись в одну, в другую дверь, в досаде застыла посреди коридора.

Так было однажды, когда мама с дядей Фёдором повели мальчика в “Мир игрушек”. Там он впервые зараз увидел на витрине и оранжевого льва из поролона, и “БелАЗ” на моторчике, и ружьё с резиновой пробкой, и много чего. Дядя Фёдор не успел всего этого купить, потому что мама, цыкнув, поманила дядю Фёдора из магазина, а мальчик не уходил...

— Чего ты не говоришь со мной, баба?! Нашла маму или нет?..

Да, бабушка была сдержаннее. Она не подавала вида, что они заблудились, а когда мальчик потянул её за рукав, не упала на пол и не заколотилась в истерике.

— Тут она где-то. Мне просто одной женщине... тоже из нашей деревни... передать кое-что нужно...

— Какой женщине?

— Какой-какой! — рассердилась бабушка, отворяя очередную дверь. — Надо какой! Пристал, как сера липучая, и ничем от тебя... Здравьте вам, дехчонки! Я суды давеча не заглядывала? Нет? А куда я заглядывала? А-а!

Клавдия Еремеевна, насильно улыбаясь, искала мальчика глазами.

— Пошли. Эта толстомясая велела к сестре обратиться...

И Сестры, как назло, нигде не было, потому что пришёл Восьмой Март и увёл всех женщин в парикмахерские, где их “начешут-начепурят, чтоб вашего брата дурить” (бабушка хмыкнула). Бродили по опустевшей больнице, вертели головой. Глядь: возле пустой корзины, насытившись, отдыхают Веник с Коробочкой. Как раз бабушка где-то снова запропала, и мальчику

сделалось скучно жить. Он брякнул крышкой Коробочки, а из неё кубарем — разный мусор. Тут как тут Коричневые Тапочки.

— Ах, вот оно что! — обрадовались Тапочки. Теперь они не были закрыты Коробочкой, и мальчик разглядел, что Коричневые Тапочки — это маленькая круглая Тётка с обиженным лицом, жгучими глазами и надкушенной сосиской в руке. От Тётки пахло вином и винегретом. — Мало того, что этот обмылок капает на меня Главному в Международный Женский день, так он ещё мусор разбрасывает! А ну-ка, пойдём!

Тётка, схватив мальчика за шиворот, поволокла его по коридору, куда давеча ушёл Чепчик, хоть мальчик и упирался валенком в пол.

— Я на вас не капал, мне нечем на вас покапать! — От потуги осадить Тётку одежка завернулась у него на спине, обнажив узкие позвонки.

— Капал, капал! — мстительно приговаривала Тётка. — Ты ещё сам не понял, как ты мерзко на меня накапал! Ну ничего-о, ни-че-го-о! Шас я тоже на тебя покапаю, если этот долговязый хрен не убежал к своей дистрофии!

Тащить мальчика вредной Тётке было несподручно, так как он цеплялся за что ни попадя и “работал на публику”, как выразилась Тётка, а затем и вовсе изнорвился, шнул обидчицу в зад, чуть валенок не застрял. Тётка ойкнула и расцепила клешни. Мальчик драпанул по коридору, громко зовя:

— Бабушка-а! А Тётка хочет на меня пока-апать!

Благо, бабушка оказалась рядом. Всполошённой курицей на крик цыплёнка выскочила из-за двери — глаза горят, посошок в руке, только что пол не скребёт...

“Сейчас насует Тётке в душу и в дышло”.

— Здесь я, Тёмка! — горласто, будто в поле, рывкнула Клавдия Еремеевна. — Ты куда подевался-то, я весь атаж оббежала?!

И, так и не нанеся Тётке урона, снова скрылась за дверью. Оттуда запричитало:

— Потерял баушку! Бежит шас, плачет: “Куда ты, говрит, баушка, подевалася от меня, я весь атаж оббегал, а тебя нигде нету...” Чё ж, как мать родная ему, ничё никогда не жалела, не обижала, не бросала ни на кого... Вот он и не отстаёт ни на шаг, так и хватается за подол, если иду из избы... Ну, где ты там? Лом поперёк слотнул, чё ли, пройти не можешь?!

...Если бы кто-нибудь объяснил, что мама может быть такой — с животом провалившимся, стыдливо прикрытым руками, с глазами усталыми, тоже как будто провалившимися, но и — сияющими, глубокими, со счастьем на дне, какое не спрятать, только если зарыться лицом в подушку... Если бы хоть через стекло бабушкиной избы, да высмотрел прежде тряпичный кулёк, этакий стрекозиный кокон в маминых руках, а в нём этого маленького, розового, вцепившегося в намятый губёнками оттопыренный сосок... Да и сам влажный, потянутый, с молочной пенкой вокруг, выглянувший из кофточка, как земляничка из травы, — о, если бы видел, пусть даже на картинке... И когда бы старуха не шпыняла, не висела, как туча, готовая поразить молнией за малейшую оплошность, — то мальчик не сплоховал бы, не захлопал бы глазами и, конечно, легко узнал маму!

Но он не видел, не ведал, а потому не знал, что так бывает, тем более с его личной мамой.

И он не сразу вошёл в просторную комнату, где на окнах по-домашнему цвели занавески, а в склянке с водой у одной из кроватей пахли всамделишные цветы, подвязанные золотистой кудрявой ленточкой. Там, за порогом оставленного мира, куда ушёл Чепчик и где в поисках мальчика рыскала злая Тётка, он, наверное, повёл бы себя иначе. А здесь мальчик чего-то срейфил и не разведал маму ни в одной из женщин, улыбнувшихся ему. Он уже хотел заплакать, как вдруг та, что держала Розового, назвала мальчика по имени, словно катая во рту нежный хрустальный шарик:

— Тё-ёмка-а! Тё-ё-ёмочка-а! Ты меня забыл? Ну иди, поцелуемся!

Конечно, он тут же вспомнил и этот голос, и этот шарик! Но бабушкина ладонь нащупала его зад ещё раньше.

— Это он — с холода, — отрапортовала Клавдия Еремеевна, а сама утрецилась на стул и, постлав платок вдоль плеч, вынула из волос красный

пластмассовый гребешок и стала разгребать — свалявшиеся, седые, сухие, как сено, которое электризовалось и тянулось за гребёнкой. — Вот и не может признать, кто тут настоящий, а кто — на синтепоне...

— Ну, Тёмка, чего ты?! — снова заговорила мама, зажимая пальцами мокрые ноздри. — Обними, сколько не виделась-то!

— Поручайся с братиком, ты его ишо не знашь, — подбадривала и бабушка. — Вишь, какой фанфарон! Будешь на Новый год апельсинки шелушить: себе — корки, ему — самый цимус!

— Ма-ам! Чего ты так?!

— А чё?

— Говоришь-то... Как будто я нищая, не смогу детям апельсинов кушать! Изначально вносишь в их отношения дисбаланс.

— Чё-ё?! — бабушка тоже хлопнула носом, но, как ни пыжилась, из глаз не выцедилось ни граммульки. — Ничего я не вношу! Просто говрю, мол, иди поздоровайся...

— Нет, вносишь! Извини меня, мама, но это так.

— А-а, тебе хоть ничё не говори!

Бабушка сцепила губы и замолкла, уставясь в стену мимо всех.

— Чё ж, так и будешь стоять, как чурка с глазами?! Вишь, я вношу... Дак ты-то хоть подойди, она тебя щас обсопливит всего! — процедила она сквозь зубы.

— Тё-ёмка, помнишь: “Ехали-ехали в лес за орехами, на кочку попали...”

— Башку сломали...

— “...на гудок нажали!” — не слушая старухи, продолжала мама. — Ну, подойди же! Смотри, какого тебе братишку дядя Доктор принёс...

Кроме его, мальчика, мамы в комнате находились ещё четыре чужих. У трёх под грудью — по такому же розовому. И только одна, Китиха, на скрипучей койке у окна лежала ни с чем, подобрав руками одеяло на огромном животе. Эти три румяные, как яблоки, мамы сразу понравились ему. Да и он им, видно, тоже. И лишь лохматая Китиха, как та коридорная Тётка, была недовольна уже тем, что мальчик есть на свете:

— Пришли, разорались... И в праздник нет покоя!

А тут ещё розовый завошкался в своём коконе, выплонул сморщенный поблекший сосок и захныкал, как собачоныйш, у которого отобрали вкусный мякиш. Мама заулюлюкала, зацокала языком, кривляясь, как дурочка с закоулочка:

— Ай-лю-лю! Ай-лю-лю!

Забыв обиду, бабушка на плач Розового тоже заворковала, но на свой манер:

— Гляди: разошёлся, как политикан по телевизеру! Так и чешет, так и кладёт на все лопатки! Слушай-ка лучше — баушка споёт.

И Клавдия Еремеевна, откашлянув посуху, быстрым дроботом — словно картошку из мешка — высыпала свою весёлую песенку (а когда-то, да и сейчас иногда, пела её для мальчика!):

*Как у нашего царя —  
Топай! Топай!*

Смеясь, мама держала Розового за локотки, а бабушка поочередно “топала” его кривыми ножонками, взяв их руками.

*Родила богатыря  
Кверху жо... Тьфу! — попой!*

— Вот дак учудила! — закончила бабушка, и все засмеялись.

Кроме мальчика. Он отвернулся к окну, за которым в голубом небе распурилась жёлтая долька, а загадочный Восьмой Март позолотил снег на берёзах... Всё равно мама больше не обращала на мальчика внимания и даже не взглянула на яблоки, которые бабушка со стуком выложила на тумбочку, подоткнув скомканной газетой, чтоб не раскатились. Да и бабушка стала

чужой — болтливой и льстивой, как лиса. И все кругом веселились! Даже Китиха, которая и смеяться-то не могла — глыбой вздулся её живот, — а всё равно колыхалась, как шаткий студень...

И когда бабушка с улыбающимся человечком подошла к мальчику, шёпотом предупредив: “Смотри не урони!” — он чесанул из комнаты, видя перед собой лишь свои сырые от слёз ресницы, словно лес после дождя. Кто-то уже на улице цапнул его за руку...

А потом присеменила бабушка с раскисшими красными глазами. Они сдали жетончики в окошко Бабе С Чёрной Родинкой На Щеке, грустной без цветов Восьмого Марта, и уехали обратно в деревню.

## II

Вечером, усталого после дороги, Клавдия Еремеевна не стала наказывать его за побег, а наутро завела в угол — носом в стену. Сама засобиралась на почту: “Выбивать из его, паразита, алименты!” Кто этот паразит и что такое “алименты”, мальчик не знал, хотя имел шесть годков от роду. Это был солидный возраст, когда кругом всё сам: носки надеть — сам, борщ хлебать — сам, валенок швырнуть через переборку, где спит старуха, — и то сам! И всё ж таки он хныкнул для порядка, однако бабушка давно изучила каждый его выверт. Она стояла у раздевалки (самодельной деревянной вешалки с гвоздями вместо крючков) и, прислонясь к дверной колоде, обувала валенки, втыкая одну, потом вторую ногу.

— Чего ты там?!

— Ничего-о!

— Слышу, чего-о! Распустил губерни: пожалейте его, бедного!

Уже одетая, бабушка заглянула в зал, отдёргнув дверную занавеску.

— Стоишь? — полюбопытствовала вполне миролюбиво. — Охота, наверное, на ушах походить?

— И ничего мне не охота!

— Врёшь! — Подумала. — Сказал бы, что охота, — я, моэть, и отпустила бы тебя во двор... Охота?

— Не-ет!

— Ну и стой тогда, не выламывайся! — и прошагала к чёрно-белому телевизору, постучала ногтем в выпуклый экран. — Не вздумай включа-ать!

— Нужен мне твой старый ящик! У нас ваще телевизор баще твоёго в сто раз. И с пультом!

— Старый я-ящик! Ты заведи для начала такой “ящик”, а потом обзывайся...

— А ты меня, бабка, к маме отправь, а то я сам сбегу!

— Чё ж ты вчера не шёл к своей маме?! Да и сдался ты ей сто лет. У ней теперь другая забота...

Клавдия Еремеевна осеклась, зачастила веками, будто смаргивая посёкшуюся ресницу.

— Ты давай-ка, товарищ, обдумай своё положение! — отворив дверь и вынеся ногу за порог, старуха ещё ожидала, что он запросит прощения. — А то посмотрите: ка-ко-ой! Соскочил и форкнул в дверь, только его и видали! А что у баушки сердце больное?! Что в етим городе скаженный на скаженном, так и лётают на машинёшках?! На это ему наплева-а-ать!

Ушла, хлобыстнув дверью. Нарочно прокандыбала мимо окон, заглянула в одно: строго, нет ли соблюдают её приказ?

Но мальчик тоже был не дурак, тоже постиг все старухины приёмы и стоял смиренно. Он даже скуксился и безутешно подрожал плечами, чтобы бабушка подумала, будто он на правильном пути. Наверное, она так и решила, удовлетворённо кивнула и убрела переулком. Что чёрт её унёс не по утору, мальчик узнал из кухонного окна. К нему он прибегал всякий раз, когда требовалось определить удалённость старухи от избы и вероятность её скорого прихода, а отсюда возможность совершения какой-нибудь проказы. Но нынче никакая проказа, даже самая маленькая, не могла набрести на его ум, большой не по годам.

Он пошёл слоняться по избе (выйти за дверь мешала плашка, накинутая на прощину с уличной стороны). От скуки выкопал из горшка яблочные семечки: много ли подросли за день его отсутствия? Полистал книжку со слипшимися страницами, которую бабушка использовала вместо подставки для сковороды, а то и как разделочную доску. Притомясь от трудов, съел из кастрюли тёплую сваренную картошку, обсыпав солью. Зажевал мякишем, бросив к печке жжёную корку. И запил прямо из бочки, чего бабушка под страхом смерти не позволяла, говоря, что “город проклятой, чтоб ему отрыгнулось на том свете, засял всю нашу матушку Лену!”

Стрелка в настенных часах полезла в самую гору. А во дворе, задумом снегом, всё заволновалось, словно весь этот белый мир был отлит из олова, но вот его нагрели, поднеся на спичке яркий огонь, и олово задрожало, оплывая, смещая углы, контуры, меняя очертания. И когда мальчик придвинул табуретку к окну, от железной печной трубы просочилась по крыше бесцветная капля. Долго, переливаясь, висела на выступе, как бы размышляя, упасть ли ей теперь или лучше дожидаться примороза, застыть, а то, полнясь другими каплями, вылезти в длинную ребристую сосулю и обломиться от попадания снежка, запызыренного смеющимся мальчишкой.

Вот, точно всю свою силу собрав на собственном конце, капля перевесила сама себя, перетёкши из точки опоры в точку движения, и быстро, как выплеск иглы в бабушкиной швейной машинке, промелькнула в пространстве между крышей и сугробом...

Ка-ап!

Ничто не изменилось в природе, да и никто, кроме мальчика, не подглядел, как неприметно завершилась судьба мартовской капли. Вслед за первой навернулись другие; зацокали в пустой цинковой ванне, подставленной бабушкой под жёлоб...

Изда, не прикрытая ни одной тучкой, смотрела стеклянными глазами за реку, на дикую заречную тайгу, сошедшую с хребтов к мёрзлым берегам. Шифоньер вдруг засверкал, как вода в проруби в ясный январский день, и мальчик зажмурился, а затем пристроил руку козырьком ко лбу и стал смотреть. Это солнце нашло незащитенное окно, юркнуло в него, но тут же и назад, умноженное в зеркале шифоньера! Однако убежать не смогло, растеклось по встречной стене и всё-всё, предназначенное небом гореть во всю ивановскую, прожигать снега и гнать ручейки, осталось в малюсенькой горнице.

За окном потемнело, капельки остекленели на кончиках сосулук. Легла тень на тайгу и стала дышать, как живая. Воробьи, чистившие клювы на куче парного навоза, набросанного на задах соседнего двора, снялись и полетели под крышу...

Мальчику стало жаль пропавшее солнце. Он зашторил окно, в которое солнышко протекло в избу, а на других, наоборот, развёл занавески. И солнце, благодарно вспыхнув, выпорхнуло сквозь стекло. Снова праздник пришёл на улицу. Забрызгали капельки, отряхнула снег тайга, а воробьи загоношились, теребя травинки из навоза.

...Давно солнце ушуровало на другой конец деревни, расшиперилось над низовскими избами — веселить тамошнюю ребятню. Без него на сердце посерело, а без бабушки сделалось скучно, потому что с кем же препираться? А зеркало, вправленное в шифоньер, и вправду — большое! В таком не только солнце, но и мальчик угнездится с ног до головы, если, скажем, отойти к окну.

Ну, разве что босоножек не будет видно!

Он так и сделал — отошёл и принялся рассматривать себя, точно мальчишку с соседней улицы, с которой ни при какой погоде не может быть замирения. Нет, что и говорить, — он не красавец! В самом деле, разве это красиво — птичий рост, худые плечики, большая косматая голова и эта ко-со остриженная русая чёлка, притемнившая и без того невесёлые глаза? А обломанные ногти, под которыми свинья ночевала? А рёбрышки наперечёт? А грязные уши?!..



Впрочем, уши-то ещё в субботу бабушка надраила в бане вехоткой — аж заалелись. Ну, да и с чистыми ушами — разве он красавец?! Мама поэтому и завела себе Розового, что мальчик — эдакое чучело... Тьфу!

О, если бы в кармане у него оказался болт, он обязательно пульнул бы им в зеркало — и бабушка ему не начальница! Подумаешь — бабушка! Пусть она проваливает к этому Розовому, строит ему смешные рожицы, а мальчику на это наплевать! Если на то пошло, он даже может послушаться старуху и выйдет на двор, вот только ножиком скovyрнёт заложку... Не надо было запирать, как преступника!

На этот раз бабушка оказалась хитрее: мало того, что накинула плашку на петлю, так ещё и застопорила щепкой. Ну, да и это не проблема! Надо приотворить дверь (благо, щеколда позволяет), а в щель просунуть лезвие ножа и поддеть плашку, одновременно стукнув по двери, — щепка и вывалится. Раз... и всё!

А во дворе хорошо! Скрипят — как из пенопласта — снежки; пахнет тёплым деревом и проталиной; влажны прутья берёзовой метлы, уткнутой черенком в сугроб у крыльца! С крыши соряется серебряные семечки, тюкают клювиками рыхлый снег у завалинки, где глубокие норки, будто неизвестные птицы искали чего-то себе на поживу. От тротуара, от поленницы, от избы отслаивается сизый воздух. Поля за огородом, сосняк за деревней, крыша свинарника — в прозрачном газе; смазываются, словно картинки в калейдоскопе. Далеко в поле, меж бурых ковылей и репейников, спешит на свою мышиную охоту лиса, а снег за её хвостом-помелом искрится огненной пылью. Да что лиса! Весна бежит по дворам, по деревенским улицам, машет голубым хвостом, и всё вокруг мерцает кусочками разбитого зеркала...

Что же, всё время торчать на крыльце?

Можно и пройтись по двору. Это не по городу. Тут греха нет, и бабушка, вернувшись с почты, простит ему самовольный уход. Значит, не стоит мандражиться и драпать со всех ног от кашля за воротами. К тому же Лётчик гопил во дворе, скакал на забор, и мальчик вышел посмотреть, не воры ли залезли в амбар, чтобы спереть дедовскую бензопилку. А так-то мальчик, конечно, никогда бы не послушался!

“Лётчик, полай! Не будешь лаять? А почему? Когда я не дал тебе косточку?! Ах, та-ак! Тогда я возьму вот эту палку и кэ-эк тресну тебя по башке!

Ага, сразу забрехал, пустолайка, только я взял палку! Будешь знать, как не ла... Чего? Чего ты вцепился в мои штаны?! Пусти, ты порвёшь, а бабушка скажет, что это я... Ну вот, не пустил! Теперь бабушка даст тебе взбучки и поставит в угол. А мне как гулять с порванными штанами?! Ворота всё равно ничем не откроешь, не сиганёшь через забор и не убежишь к маме!..” Встать, разве, под крышу и попить капелек, а потом умереть, чтобы бабушка не ругала? Всё равно мама завела себе Розового, и ей не будет печально, если мальчик больше никогда к ней не придёт. А у бабушки есть капельки в аптечном пузырьке, она наберёт их в рот и переживёт его отсутствие...

Отбросив палку в снег, мальчик на всякий случай ещё раз примерился к забору. Он был серый от старости, но не хотел расти вниз, как бабушка, и хотя давно накренился, но по-прежнему оставался высоким — даже тай-гу за ним не видно, облака лежат сверху белым снегом... Ни за что не преодолеть, разве только на ходулях! А раз так, что тут думать? Штаны-то в любом случае не зашьёшь...

И он встал под крышу, под синие, как глаза весны, окна зала, потому что с этой стороны струилось звонче и чаще, как будто в каждый из желобков шифера положили по пузырьчку, капроновой пробкой, проткнутой гвоздём, вниз.

Лётчик, беспутный глуховатый кобель, только жрать да спать гораздый, вынул нос из будки, зевнул и стал ждать, когда мальчик напётся капель марта и умрёт. И мальчик, видя такое радение о своей жизни, задрал головёнку к небу, раззявил рот пошире. Кап! Кап! Кап! — студёные. Кап! Кап! Кап! — жгучие. Кап! Кап! Кап! — прямо на язык... Он не слглатывал их сразу, а накапливал за нижней губой и медленно посасывал, как делала бабушка.

Из сосулек мигали маленькие солнца, слепили глаза. Мальчик закрыл влажные веки, на которые плакало с крыши, и весь превратился в ожидание, когда же капли переселят его и свалят в снег. Но капли всё не переселивали. Только было щекотно во рту, а зубам — стыло, как будто прикусил лезвие ножа. Вот сейчас! Ещё пять! шесть! семь капелек! — и он будет полон, упадёт сосулькой, а пока мама хватится и приедет, он уже растает и утечёт в землю, прорастёт зелёной травкой. И ни одна живая душа не найдёт его. Бабка обтопчет галошами или ссечёт тяпкой и швырнёт курам на потеху. Призывает его только Лётчик. Но и он, отогнув лапу, окропит жёлтым дождичком, и только за то, что мальчик однажды пожалел ему косточку...

Но что это прошуршало и шлёпнулось в снег?

А-а, это капли одолели сосульку, и она вонзилась в снег. Тяжёлая, глубоко вошла... Ну да, легко гурьбой столкнуть несчастную сосульку! Пусть они его попробуют забороть!

Вон, однако, ещё одна упала, и ещё... Последняя срикошетила от бельевой проволоки и раскололась о тротуар, а её ледяные осколки вдарили по будке, в которой дремал Лётчик. Ха-ха! Так ему и надо, не будет капать на мальчика, как говорила та вредная Тётка в больнице...

...Солнце покренилось к лесу, но уже с этой стороны Лены. Задрожал жестиной винт фанерного самолётника, на длинной спице взмывшего над крышей. Это ветерок подул, навёл облаков. И сразу стало сумеречно, особенно за избой. Кто-то прошагал за забором, высекая острым посохом скрипучие ямки, тут же наполняющиеся тёмной водой. Так и бабка скоро вернётся, даром что опять, поди, наведала по пути и Настасью Филишповну, и сестриц Сентябрину с Октябриной, и бабушку Степаниду с дедушкой Анантием, которому сто лет в обед и белая борода выросла в рот, в нос, в фиолетовые уши...

Идти, что ли, домой? Не то и убить может сосулькой, как одну городскую старуху прошлой весной.

### III

К вечеру обдало жаром, как из печи.

— Берёсту поднести — вспыхнет! — только и сказала бабушка, потрогав его лоб. — Ну-ка, брысь в постель, чтоб носу не видно!

Она укутала его дедушкиной душистой шубой, ради такого случая принесённой из амбара. Четырёхногий каракастифей сползала в подпол за редькой, разрезала на половинки. В одной выковыряла ямку, капнула в неё ложку мёда и, надвинув вторую половинку, посадила на блюде в протопленную русскую печь.

— Завтре даст сок, будешь пить по три раза в день — вся хворь из тебя вон! — суетилась подле, подносила в стеклянном стакане ярко-красный брусничный морс да подтыкала шубу. — И в какую пору успел остыть? Я, главное дело, уходила, дак ничем ничего, а пришла — ка-хы! ка-хы! Как старичонка кураций! То и Катеринку, внучку Настасьи Филишповны, прохватило, Цыры на таких вот кублочках оденет, одежку какую-нито набросит — и ну-у прыгат, ну-у скочет по снегу, как сохатый! Ты-то ладно, от горшка два вершка. Но та-то — бóльшенькая уже, школу нынче кончает, должна понимать! Да хотя чё с них взять? Мать твою привести в пример...

Он слушал да мотал на ус, но ни одному слову не чинил нынче запрета, даже если бабушка костерила маму. И не то чтобы боялся схлопотать за капли марта, день напролёт дробившиеся с крыши. Как было объяснить, что забор слишком велик и мальчик, чтобы прийти к маме синим небом, встал под капельницу и попил?! Ведь он всего лишь хотел помочь, если маме дороже розовый человек, а мальчик ей теперь — как собаке пятая нога (так в запале обронила бабушка, а мальчик подобрал). К тому же горло у него разгорелось и зудит, как будто продрали колючим ёршиком, каким бабушка скребёт сковородки. Теперь не то что говорить, а тем более спорить со старухой, — сплунуть лишний раз, и то больно...

— И штаны, почти что новые, два раза стиранные, разорвал — как по шиповник сходил! — разорвалась на другой день Клавдия Еремеевна,

на широкой доске, обшитой простынёй, утюжка бельё. — Всё-то он может: и баушке прекословить, и простуды цопать, и штаны рвать! Праильно старики говрели: в поле ветер, в заднем месте — дым...

Одним хорошим боком неожиданно повернулась болезнь: бабушка сделалась уступчивей на его просьбы, как молодая, летала с котомкой в магазин, всяко пичкала и баловала. Не успевала она вонзить мальчику под мышку холодный, словно рыбка, градусник, как уже прытью в кухню — то пошурудить в печи, то сдёрнуть с огня плюющуюся салом сковородку с жареными картохами, а то отчёрпнуть заварки в запарник, ворчливо стукующий крышкой. Да ещё умудрялась вступить с запарником в перепалку: “Ну, понёс свою политику! Одного его слышно: квух-квух своей крышкой! Только я полешко подкинула, а он уж закашлял-заплевал, как Мотыка чахоточный...”

Вымыв и построив в шкафу вечернюю посуду — от мала до велика, от блюда до суповой тарелки, Клавдия Еремеевна сидела, сдвинув опрокинутые вёдра, на углу лавки в одну доску. В долгожданном покое пила синичьими глотками последнюю в этот день кружку горячего чая. Порожнюю ополаскивала над тазиком и тоже подбирала ей место в ряду. Озиралась: всё ли ладно? Нет, не всё! Обвязывала тряпочкой крышку электрического самовара. “Чтобы тараканы не залезли по дырочкам”, — догадывался мальчик, который не спал и всё-всё видел.

Наконец, расправившись с хозяйством, она подсаживалась к нему. И тогда начиналось! Тут тебе и про бабуку Домну, “кругом себя вертавшуюся, в телка́, в собаку ли превращавшуюся”; и про возвращавшегося с царской службы солдата, что летал за ведьмой в печную трубу; и про “баушку Петровну”, которая иссушила Лену-матушку — “одне брусствера, как кости баушки Петровны, лежат”; а то про чёрта, виденного “дехчонкой” на речке Королихе — “сам волосатый весь, как дяшка Андриян, а в зубах — сигарка...”

— А Маруська — где? — на шорох подсевшей бабушки, на скрип панцирной сетки откликнулся мальчик, не поворачивая головы.

...Клавдия Еремеевна молчит, смотрит на месяц за окном. Но у неё своя тяжесть на сердце: “Месяц сентябрь, по всему, сырым будет. Надо картошку пораньше выкопать, а то потом колупаться в грязе, сушить под перенбаркой...” Эти неотступные от всего бабушкиного существования думы не мешают ей заботливо паковать мальчика, подбивая со всех сторон одеяло.

— Маруська-то? А в подполе, воюет с мышами да крысами.

— И с крысами — тоже? — дивится мальчик.

— Но-о!

— Дак они её поборят...

— Это Маруську-то?! Ну, парень, сказал, как в лужу б́изнул! Насмешил баушку — и только... — И старуха притворно смеётся, обнажая под бледными синеватыми губами жёлтые, как застывшая смолка, но ещё крепкие зубы. — Да она сама накрутит имя́ хвоста! Сграбастат одну за шкварник да ка-а-ак шваркнет о сусеки — все другие-то и разбегутся, кто куды...

Мальчик тоже смеётся: рад, что Маруська верховодит.

— А Лётчика сильнее?

— Ну, сильнее не сильнее, но спуску не даст. А случись заварушка покрупнее — скажем, полезет Лётчик к Маруськиным котяткам, — дак, пожалуй, ишо наведёт ему причесона.

— А ворона? Что ей Маруська сделает?!

Тут Клавдия Еремеевна задумывается, горкой сложив руки на коленях.

— С етой, пожалуй, не сладит. Злющая птица — кто с ней свяжется? Ведьма в перьях. Мы дехчонками шарахались от них, как от оглашенных. Орут-то! Как на похоронах. От неё и Лётчик, поди, спрячется от греха...

— Ворону я не боюсь! — воинственно сжав кулачки, говорит мальчик. — Если она меня клонет, я возьму дедушкин посошок и ка-а-ак трахну её по башке!

— А она ещё раньше каркнет на тебя — ты и стрелишь в штаны, как с горохового супу! — подзуживает бабушка, и от глаз ветвятся морщинки, как лучики от закатного солнышка.

Ну, зачем бабушка насмешничает над ним? Для чего роняет горькие, как полынь за огородом, слова?

— Не-ка, не стрело! — возмущается мальчик, и у него даже спирает дух от обиды. — Я тот раз дрался с ними! Они прилетели кловать свинные хвосты на заборе, а я их прогнал... Ты, бабка, не видала, а трёкаешь своим поганым языком!

— Дак я чем знала, парень?! Я бы знала, дак не говрела, а ты же молчишь — и я ничем ничего...

На ночь Клавдия Еремеевна напихивала прожорливую буржуйку трескучими сырыми поленьями, аж алел разрезанной свёклой железный бочок. В животе мальчика, как в печи, было сытно и тепло — тарелку драников со сметаной умял за ужином! И было темным-темно. Лишь в кухне горела жёлтая луковка, освещающая мальчику путь до ночного ведра...

И в этом-то луковом свете, под разговор поленьев в печи и бабушкино посапывание, к мальчику стала приходиться мама. Она становилась посреди комнаты, там, где отпечаталась на половице зелёная звезда, — простоволосая и босая, с охажкой огненно-красных цветов, опоясанных золотистой ленточкой, — и в её небесно-голубом платье серебрились, словно волшебные, большие и малые булавки. И он, как на свет, тянулся к маме, не боясь обжечься о цветы, вздымался на постели, а ожившая дедушкина шуба хохотала и плакала, и задышался, и пинался, отгоняя от себя смерть. Но мама, чей тонкий лик пламенел в цветах, стояла не шелохнувшись, как травинка в тихую летнюю ночь.

— Спи, Тёмка, спи! Спи, голубь... — ворожила над ним бабушка, сев рядышком и приняв к себе на колени его растрепавшуюся головку; прикладывала целлофановый кулёк со снегом...

На четвёртый день болезнь пошла на излёт, выморенная редькой и малиной, а вместе с ней исчезло и видение. В носу обсохло, всякую гадость из горла вымел отвар чистотела. Только пятки “ради профылактики” жёг горчичный порошок, насыпанный в шерстяные носки, которые бабушка на ночь смачивала в тёплой воде, а мальчик сдирал под одеялом и блаженно шевелил пальцами, чесавшимися из-за налипшей шерсти. Не видя мамы, он теперь всё чаще думал об отце. О нём помнилось: чёрные задиристые усы, аккуратно сведённые в округлую скобку на подбородке, фанерные петухи, которых вырезал лобзиком, обтачивал шкуркой и красил, да любимая песенка: “Уеду в деревню, заведу непременно корову...” Он и уехал, но не в деревню, а к себе на Украину, где в одиночестве несобранных вишен доживала своё горькое житьё старушка-мать.

...Как слюдяные, однажды заблестели глаза. Мальчик тайком от бабушки отвернул шубу и поднялся напиться. Глотал отмякшим горлом живые комки. “Ну и пусть уехал, скатертью дорога!” — кап-кап с ковшика на жестяную крышку бочки. А вот сухой выстрел — в печке лопнул еловый сучок.

Сидя под лампочкой в прихожей, бабушка с очками на носу читала какие-то бумажки и что-то помечала карандашом. “Надо завтра тащиться на почту, уплатить за анергию. И откуда столь киловатт набежало?!” — вела сама с собой беседу.

— Баб, а почему папка от нас ушёл? — голос у мальчики окреп, и он сам испугался этой доселе неизвестной ему крепости.

Раньше он думал: на его вопросы не отвечают, потому что он ещё мал. Но вот недавно померился — на два пальца подрос, судя по прошлогоднему отчерку на дверном косяке! А бабушка сунит брови, сцарапывает зубами навстреленные шкурки на губах.

— Чё молчишь-то?!

— А я почём знаю, чё ему, долговязому, надо было! — буркнула, аккуратно складывая бумажки в специальную папочку. — Галя в собесе работала, на шее не сидела, не лаялась хуже собаки... Кто его, Тёмка, знает, по чё твой папка укатил в город этот... Как он называется? Не наш-то теперь?

— Дне-про-пе-тровск! — подсказал по складам, хотя раньше думал, что нипочём не выговорит. Но, видно, горе было настолько велико, что сдальось страшное слово, за которым, точно за забором, он прятался, едва спрашивали об отце.

— Вот он самый и есть. Должно, спутался с какой-нить... прости, Господи! — и укатился — только шубёнка заворачивалась.

Вешая ковш, мальчик не сразу нашупал гвоздок на стене. И снова — кап-кап на крышку! И не поймёшь — откуда...

— А мать... Она не виноватая. Ты вот тот раз убежал из родилки — мать все глаза проплакала. А разве ей можно, в её-то положении?

— А чё она смеётся, как дура?

— Это о матери-то?! — старуха даже подпрыгнула, как будто подвели ток. Нависла, замахнулась, чтобы клонуть. — Ка-а-ак шалбану!

— Я же сказал — “как”, я же не сказал — “дура”! — вовремя сообразив, что отступить — себе дорожке, из-под руки закричал и мальчик, давая поправку бабушкиным словам.

— Ты бы ишо! — властно, но уже примирительно хмыкнула Клавдия Еремеевна и вся сдулась, опала, как проткнутое тесто. — Ты должен сочувствие иметь. Она тебя породила, исть-пить даёт, книжки покупает. А откуда у ней в кошельке лишняя копейчонка?

Конечно, бабушка права. Мама лезет из кожи вон, горбатится на него, а он... только кровь пить!

— Ладно, баба, — и вот тут-то голос дрогнул и сломался, а трещинка наполнилась слезой. — Я... не буду обзывать!

— Вот и ладно! Вот и добро!

#### IV

Весна показала норы: в середине марта припекло, будто из сотен банных совков высыпали жаркие угли. Задымились поленницы и тротуары, а в ограду юркнули от дороги первые ручейки. Сговорившись у ворот, окружили домик Лётчика и, сколько мальчик ни сверлил палкой под заплотом, не утекали из волгоотной низины в соседний двор. Лётчик забрался на будку и, засыпая на солнце, лениво поглядывал за тем, как его фатеру обстучает вода, а в ней отражаются звенья до блеска нашлифованной цепи.

Солнце, казалось, не сходило с вышки. На что мальчик просыпался наперёд света, даже раньше бабушкиных чепарушек, а всё равно солнце было уже во-он где, над крышей дальнего сеновала. А укладывался спать — оно только-только покидало свой пост, передавая его недолгой луне, чтобы рано утром снова заступить на службу. Случалось, они встречались в небе, прочерченным зыбями облаков, — исчезающая бледная луна на западе и заревое солнце над заречной тайгой, — будто две собаки на пограничье улиц. Шмыгнув из кровати к окну и прошкрывав ногтем наледь на стекле, мальчик гадал: если солнце, нагуляв жиру, забудёт слабенькую луну, — станет ли оно вместо неё светить по ночам?

Он даже спросил об этом у бабушки, спозаранку ворочавшей кочергой в печи. Но Клавдия Еремеевна, как теперь часто за ней велось, уже с утра была не в духе.

— Выдумал тоже! Вот печь прогорела — это да, уголёк не могу найти, чтоб распалал берёсту... Наверное, то и в мире будет, если луна затухнет. Кто же будет по ночам держать в небе жар?! Солнце большое, дак оно одно в запасе. Пыхнет и сгорит, как спичка. Или, вон, как лампочка — заколебалась покупать!..

Но, слушая просьбы мальчика, солнце не забарывало луну. Каждый в срок вершил свою работу: луна по ночам держала в небе жар, а солнце утром воспалось от уголька. Снег при согласной работе двух светил чавкал под сапогами, разбрасываясь грязными комочками под колёсами автомобилей, выкипал вязкой кашей, которую мальчик, баляясь, хлебая совковой лопатой и даже наполнил ею бабушкины галюши, с осени забытые под сараем. Кое-где высунулась старая снулая трава. Воробы и синицы, сидя в траве, чистили перья и клювы да мудрёно переговаривались, налаживая боевую связь. Контролировали, не крадётся ли из-за угла этот худущий городской мальчишка, не подцепляет ли, бандюган, на своей страшной орудье резину, которая уже не стынет и, сглотнув кожаным зобком дорожный камешек,

аж за избу старухи Аксёнихи тынется, суля всему сущему погибель и урон...

Дни держались тихие, безветренные. Редко за огородом прошелестит включенной верхушкой серый стог, дымясь на солнце сеной лысиной, потной от стаявшего снега, который сошёл не весь и ещё висит по бокам. Но ветки берёзы под окном качались день-деньской и роняли серёжки не от ветра, а от того, что капли бойко пуляли в них с крыши, одевая на ночь в серебряные, до ошкуренной земли, рукава. Крыша почти очистилась, только над кухней, с необветренной стороны, остались надутые за долгую зиму, хмуро сведённые у трубы снежные извивы.

Капать начинало часам к десяти, а замолкало в сумерках. В особенно погожие дни, когда тепла к вечеру накапливалось с гаком и долго ещё в солнце не гасла красная пружинка, проблескивало и ближе к полночи. И мальчик считал дни от капельки до капельки, от первого до последнего выплеска иглы. Ох и много бы этих капелек набралось, если бы под каждую — пузырёк! Но тара была только рядом с крыльцом, под обомшелым жёлобом из осинового колоды. К обеду из него шумело и кипело, как из раскупоренной бутылки шампанского. От быстрой капли в жёлобе надувались пузыри и с клёкотом, как в воробьиной драке, катились к обрыву, каждый стараясь наперёд других поспеть в бочку, наполненную с лихвой. Прозрачной ледяной водой заняли с бабушкой все тары в бане, а чтобы посуды не раздавило, если ночью ударит мороз, окунули в воду поленья и сверху прижали подручным грузом.

С пробуждением берёз и тополей, с перезвонами весёлых капель и журчанием ручейков заурчало, оживлённо застучало и за забором, в переулке. Это небритые хмурые мужики пилили и кололи дрова, и когда пилили — пахло бензином, а взялись колоть — раскрытым деревом. По временам они глушили обшарпанные тархтелки, зацепив зубастые стартёры резиновыми ручками за бензобаки. Садилась на поставленные чурки, подложив под себя верхонки. Закуривали, передавая по кругу полыхавшую спичку, и если та гасла на полпути, то новую не расходовали, а, склоняясь головами и часто причмокивая, подкуривались от единственной зажжённой папиросы. Кашляли из больших корявых ртов белыми душистыми облаками.

Иногда мальчик залезал на забор и, по бабушкиному наущенью, следил за тем, чтобы мужики “не жучили водяру”. Они со смехом предлагали ему то пилу, то колун, то — тройной одеколон. Но пилу мальчик не мог завести, не умея провернуть стартёр, а тяжёлый, сваренный из двух топоров колун не вознёс бы над головой, имей он хоть ещё одну пару рук. И мужики огорчались: “А мы-то с тобой — как с ровней!” Его работа начиналась, когда мужики, чинно разделив хлысты и расколов чурки, возводили длинные двурядные поленицы вдоль забора, от угла до угла. Они делались вдруг неторопливыми, отряхивались у крыльца и, сгрудив стежонки, шапки и валенки у порога, в одних носках шли в избу “покалякать со старухой об одном деле”. Вот тут-то и годился мальчик! Он брал метлу и с удовольствием мёл, набирал в лопату корины, щепки и жёлтые опилки и засыпал ямки на дороге, пробурывавшие весной.

Навоевавшись за день, к вечеру едва волочил ноги, вяло жевал за столом, а сев на разобранную бабушкой кровать, засыпал с чулком в руке, сдёрнутым с одной ноги. Сны ему никакие не показывали; крепким и сладким был его трудовой сон, так что маму он видел только днём, в своём воображении. Подумать только: уже вечность прошла с той поры, как они с бабушкой навестили маму в больнице! Теперь он даже не знал, как там розовый человечек, подрос ли он и сучит ли ножонками, думая куда-то удрать. А мама — любит ли она мальчика, как прежде, или даже не думает о нём, потратив свою нежность и карамельки на того, другого?..

Но и мама не знала, что он из-за неё наполнил едких капель и бабушка, хватаясь за сердце, лазила в подпол за спасительной редькой, вызволяя его чуть не с того света. А Лётчик, варначина, порвал на мальчике штаны. И что вообще весна у них в деревне и скоро, если будет по-прежнему ясно и солнечно, синим пузырьком вздуется Лена, лопнет и хлынет на луга, в поля и огороды, зальёт старухин подвал и бывшую силосную яму возле

электроподстанции, и мальчик будет плавать на плотках с местными ребятами, — конечно, если прежде бабушка за какой-нибудь грех не спустит с него шкуру или Лётчик совсем не загрызёт! Так что коли мама столь сильно, что спасу нет, хочет приехать и привезти ему земляничного мороженого в вафельных стаканчиках, какого не найти в здешних магазинах, ей стоит поторопиться. Не то половодье захлестнёт мост через Казариху, не то мальчик оборвётся со склизкого плота в яму, не то много чего ещё может стрястись без неё...

Особенно ярко вырисовывалась мама в его памяти, если бабушка куда-нибудь отлучалась — спускалась ли она с фонариком в тёмный подвал проверять соленья, ковляла ли к соседке по молоко или ковляла в огороде чёрную землю под рассаду. И на час-другой, но мальчик оставался один — в избе, в осиротевшей ограде, в пустынном и безжалостном к нему огромном мире. Бывало, что и плакал, а зеркало однообразно отражало его подрагивающие плечи, спинку стула, окно и настенные часы, отмерявшие дни его невесёлой жизни. От их тиканья было ещё горше, ведь рождались и умирали минута за минутой, а мамы всё не было. Она жила где-то там — за горой, за рекой. Да не ему навстречу раскрывались её руки, не над его нечёсаной маковкой тихим месяцем склонялись её губы.

Работы на подворье прибавлялось. Клавдия Еремеевна с ног сбилась, со смертью бабушки тянула и мужицкую ляжку, где вжикая ножовкой, где тюкая топором, а где подпирая колом. В её отсутствие мальчик выучился разговаривать с книжкой, с часами, с кастрюлями, с горшком на окне... Однажды он невзначай выдумал, что и мама — с ним, с утра до ночи, с ночи до утра следит за своим брошенным сынишкой. Уж эта-то мама жила-была только для него, и украть её не могла ни одна душа, живая или мёртвая, даже бабушка, на ночь затворявшая ставни посохом! Выглянет ли мальчик спросонья в окно — мама лунится в щёлку рассветным солнышком. Выбежит ли на двор — мама в палисаднике белой берёзой, машет серебряным рукавом. Засмотрится ли, ложась спать, в вечернее небо — мама мигает звездой, которая больше и ярче других, ближе к земле, к их с бабушкой избе, к окну, из которого днём ли, вечером ли, гремела ли старуха кастрюлями в кухне или уже спала в спальне, явственно слышалось: "Горюшко ты моё луковое! Чего выдумал, будто я поменяю тебя на кого-то другого! Да за сто тысяч лучших не отдам!"

## V

Но пролетали дни, набухало весенней акварелью небо и пахли бензином масляные подтёки на дороге, где мужики дёргали свои бензопилы. Шумно хлопали ручейки, а сумрачные старики в облезлых шапках и валенках с галошами грузили в жестяные корыта и вывозили из дворов снег, мягкий, как сливочное масло. На середине реки пролизалась и стремительно ширилась изумрудная полоса, а под ней ворочалась яркая тёмная вода. Улицы залились велосипедным перезвоном, и на зальной тумбочке всё чаще дребезжала трубка телефона. Это звонила мама, уже из дома. Бабушка беседовала с ней чинно-мирно и почти не обзывалась, однако мальчику не было до этого дела. Неохотно рассказав о своём житье-бытье и до зевоты насытившись бормотанием розового человечка, которого мама нарочно тормозила и щекотала на том конце провода, он скорее попрощался и первым нажимал сброс.

— Чё ж ты, парень, с матерью ладом не поговрел? — гадая, как ей так подступиться к нему, чтоб и на путь наставить, и душу не замкнуть, осторожно подкрадывалась бабушка. — Поди, вся в слезах...

Сдружившись с деревенскими ребятами, мальчик вскоре славно освоился и без мамы. Он лепил снеговиков, через час-другой ронявших оранжевые морковины носов, разжигал на проталинах костры, трескуче рвавшие летошнюю траву, плавил в консервных банках свинец, мастерил деревянные кораблики и жевал чёрный вар... К вечеру не то что писк-визг в трубке — самого себя забывал, так что иной раз и бабушке было не докричаться. В сумерках, замотавшись шерстяными платками — один на голове, другой

на пояснице, — она объявлялась на улице с неизменным посошком в руке. Нашарив мальчика глазами, выудив его за руку из прочего разного народа, драпавшего от старухиной палки кто куда горазд, влекла за собой, как на буксире.

— Ну ба-а-ба! — каночил мальчик, плетясь за Клавдией Еремеевной — усталый, голодный, с шапкой на затылке, с вымазанным сажей лицом.

Старуха, сухо покашливая, виляя в смертельную дугу согнутым телом, была непреклонна:

— Никаких “нубабов!” не будет больше! Завёл манеру: встал, поел, ноги в руки — и бежать! Вертись баушка, как на угольях, с большим-то сердцем. Переживай: жив он или, моэть, под лёд ушёл...

И мальчик снова сидел взаперти, под надзором старухи, не спускавшей с него глаз, а если бабушка засыпала, за ним следили её раскрытые очки, положенные на тумбочку: дужками — к стене, стёклышками — к двери.

Впрочем, таких заточений, как три недели назад, когда он чесанул из родилки, не было. Иногда ему разрешалось погулять не только по дому, но и по ограде. Правда, за ворота не сунься, а не то агромадные собаки измячат, и Лётчик не сорвётся с цепи, не придёт на выручку, хотя мальчик и подкармливал его корочками и косточками. Но в то же время и забор стал как будто ниже — или это мальчик подросток ещё на палец? — а Клавдия Еремеевна частенько чаевала у Зинаиды Петровны, к которой уходила то наскрести извести на побелку, то — отлить мурашиного спирта на какие-то свои процедуры. И не было ничего плохого в том, что мальчик приставлял к воротам доску, взлезал и, разоружив с помощью проволочного крючка хитроумную задвижку, конечно же, не к ребятам на угор, а к старухе на выручку мчал, дабы оградить от собак, и если всё-таки оказывался на угоре, то чисто случайно.

Не скоро прощала Клавдия Еремеевна, не одно “бабуля”, “любимая” и “хорошая моя” надо было истратить на впечатлительную старуху. А за воротами жизнь кипела куда бойчее, чем день назад, и уже карусели лебедями парили над угором, увлекая воображение чёрт-те куда, а душу — в пятки! За этими событиями, пронёсся ли он на карусели или пробовал обуздать егозливый велосипедишко, приезд мамы, сама мама, их прошлая совместная жизнь в городе и дядя Фёдор с коробкой конфет — всё понемногу откатывалось за высоченную гору, так что не сегодня-завтра могло и вовсе пропасть из виду. Между ними, вчерашними, между ним самим, который был когда-то, и им теперешним пролегла незримая канавка, как та трещина во льду, отделив одну жизнь от другой. Вскоре даже мечтать о маме, о будущем свидании с ней, о хорошей жизни втроем (раз уж дядя Фёдор исчез, а розовый человечек появился) стало невыносимо.

И лишь иногда он вспоминал себя в вихре буден и ребяческих забот. И тогда печаль от разлуки с мамой нападала с новой силой, и мальчик всерьёз — насколько это было возможно в его возрасте — задумывался: “Всё-таки он забавный, этот Розовый! Ножонками кривыми шевелит... Бежать ему, видишь, надо... Нет, если мама хочет, тогда, пожалуй...”

Но думы эти были редкими и всё равно что чужими, как будто мальчик думал их не своей, а посторонней головой. И это изжилось — с помощью бабушки. Её исправные добрые слова, словно капли с крыши, проели, наконец, и его загрубевшее, обросшее коркой сердце, и в нём задышала про-талинка.

— Бабушка, а мама сюда его привезёт? — как-то за ужином, без всякого зачина к этому разговору огорошил он старуху.

Клавдия Еремеевна, отложив ложку, боялась поверить. На всякий случай уточнила:

— Ты про кого?

— Да про этого... В родилке-то.

— Фонбарона? На лето, моэть, и сюды... А почему спрашиваешь?

— Та-ак...

— Это, Тёмка, братик твой. Ты теперь за старшего будешь. Так уж ты приветь, не вороти морду...



Да что же это?! Старуха, наверное, издевается над ним! Ведь не он, мальчик, а этот “братик” пришёл в его жизнь и всё-всё у него отнял! Отныне розовый человечек всегда впереди: в получении апельсинок и мороженого, в поедании бабушкиных шанег и — можно не сомневаться! — в кланчевье мамино внимания и любви... Как же “не вороти морду”?!

...В один из дней бабушка с утра навострилась в магазин — кончилось банное мыло. Большой прорухи в жизни Клавдии Еремеевны и быть не могло. Чего-чего, а порошки стиральные в картонных коробках и тяжёлые бруски серого проштампованного мыла не выводились в амбаре.

— Это потому, что на тебе ни одне штаны в чистоте не держатся! То смолу с чурки соберёт, то сажей вымажется, а то в мазуте извозёкается! А баушка, мало что только отстиралась, опять грей воду, готовь шайки! Вот он и вышел — расход, — рассудила Клавдия Еремеевна, совсем запамятовав: амбарное, “эсээровское” мыло — ещё из дедушкиного запаса, и ничего не было удивительного в том, что он иссяк. — Поешь, чай попьёшь и можешь погулять по ограде. За ворота не ходи — снова лешак потащит на лёд. Ручьи Сергей Фёдырычу в ограду не пускай, я уж осипла с его бабчей ругаться. С дверьми аккуратнo, не зажми средних конечностей, а то снова твоя мама проведёт мне головоломку...

— А мама должна приехать?

— Прива-а-алит, не беспокойся! Сра-азу забудешь баушку, всю её ласку-заботу. Форкнешь в город — только твой хвост и видать!

— У меня нет хвоста! — засмеялся мальчик, недоумевая, почему бабушка разговаривает с ним, как с маленьким.

Бабушка даже бровью не повела. Наоборот, внезапно омрачилась, погружённая в какую-то неизвестную мальчику тревогу.

— Да, гвоздей в розетку не суй, мало тебя тогда шандарахнуло — пол-избы облетел, пока стенку не встретил... Всё, я исчезла.

Только бабушка отчалила, а мальчик, слушив яичницу с салом, горбушкой подскрёб донце сковородки и стал думать, смыться ли на карусели или, например, залезть на избу и закрыть трубу фанерой, — как у ворот побибикала машина с жёлтой коробочкой на крыше. Во дворе дёрнулся Лётчик — и забрехал, понёс свою политику, но почти сразу утомился и приветливо заскулил. Наверное, бабушка забыла деньги и вернулась на попутке...

Но под окошками, набросив кашошон, быстро прошла с тряпичным свёртком под грудью небольшого росточка женщина в пуховой куртке цвета молочной пенки. Над свёртком, который несла бережно, как воду в ведре, поднимался лёгкий парок — всё-таки было хоть и весеннее, но сибирское утро. Следом, стараясь поспеть наперёд и открыть дверь в сенцы, чикиляла бабушка с болтавшей у ноги пустой сумкой.

О, и без этого чуткого дыхания над свёртком, без пушистой vareжки у бабушкиных заблестевших глаз обо всё догадался мальчик! Лязгнув кулачком в стекло, уже не томимый никакими печальями, отнявшими у него столько счастливых дней его детства, он скакнул с придвинутой к окну табуретки и побежал, не помня потом, как миновал прихожку и сенцы, бабочкой воспарив над изьяным, над санным порогами, радостно распахнув двери и руки...

Через день они уезжали. Бабушка прислонилась к окну и тихо плакала, и слёзы вперемешку с капельками из пузырька текли в её дряблый посеченный рот.

Шли по солнечной улице, навстречу такси, хлопая раскисшим снегом и слушая птичью трескотню. И деревенские друзья мальчика ехали следом на велосипедах, прощаясь с ним звонками, чинно обруливая лужи, и форсировали своим умением перед его мамой, которая запрокинула кашошон и была красивой, вешней и ещё совсем молодой. Маленький Серёжка, начмокивая соску, спал на бабушкиных руках, как на двух перевёрнутых радугах, и ничего не видел и не слышал. И со всех стоявших в тени сараев, навесов, дровяников, куда только-только пришёл праздник, со всех крыш всё сорились, всё бежали, подпрыгивая на шляпках гвоздей, всё торопились прожечь снег целебные капли марта — последние у ранней весны, самые светлые, проморгавшиеся для счастья и любви в природе. Их теперь не заматчивали ни радость, ни горе, ни день, ни ночь.